



ЖОРЖ НИВА

II. На европейском пире

Пушкин, «афинянин среди скифов»

Я мог бы озаглавить это эссе (вслед за Вирджинией Вулф) «Onnotknowing Russian»^{*}.

В статье «Onnotknowing Greek»^{**} она пишет о значимости греческой поэзии для европейца XX столетия. Мы обращаемся к греческой культуре, устав от бесформенности жизни, от неясности христианства, от утешения, которое оно предлагает, от прожитых лет...

Говоря о «русской точке зрения», Вирджиния Вулф подчеркивает разрушительность перевода: «В живых остается только грубый, опошленный, приниженный вариант смысла. После этого русские классики выглядят людьми, потерявшими одежду в результате землетрясения или крушения поезда».

Пушкин пострадал от такого обращения больше, чем кто бы то ни было. Во Франции Ефим Эткинд с группой энтузиастов перевел основные пушкинские произведения, сопоставил и разобрал двадцать шесть переводов стихотворения «Пророк» — и все тщетно. Пушкин остается неизвестным.

Публика знакома с теми его сочинениями, которые были положены на музыку («Евгений Онегин», «Пиковая дама» — в двух интерпретациях: Чайковского и Скрябина) или проиллюстрированы знаменитыми художниками книги — А. Н. Бенуа, М. В. Добужинским, В. И. Шухаевым. Что-то известно на Западе о споре Пушкина с Мицкевичем, о дуэли, кто-то читал его биографию, написанную Анри Труайя...

Тому есть две основополагающие причины.

^{*} «Не зная русского» (англ.).

^{**} «Не зная греческого» (англ.).

Пушкин не укладывается в те определения «русскости» и русской души, которые у всех на устах со времен Мишле: отсутствие строгой формы, тяга к мистике, болезненность. Томас Манн, противопоставив гётеанскому здоровью «достоевскую» чахлость, не сказал ничего оригинального. Что же до «всемирной отзывчивости», о которой Достоевский сказал в знаменитой речи 1880 г., то и ее трудно было понять, не зная русского языка: к тому времени уже сложился «западный» стереотип восприятия Пушкина как эпигона. Например, Ламартин называл его «напыщенным подражателем» (*cet imitateur pompeux*).

В 1848 г. во Франции вышли «Избранные сочинения А. С. Пушкина, русского национального поэта, впервые переведенные на французский язык А. Дюпоном»*. И так, за Пушкиным к этому времени закрепился титул «национального поэта», что едва ли могло облегчить иностранцам восприятие его поэзии. Полагаю, Владимир Вейдле в книге эссе «Задача России» прекрасно подытожил эту ситуацию. Он совершенно справедливо замечает, что Пушкин сам полагал некие пределы своей «всемирной отзывчивости», и открывает полемику, провозглашая: «Пушкин — самый европейский и самый непонятный для Европы из русских писателей. Самый европейский потому же, почему и самый русский, и еще потому, что он, как никто, Европу России вернул, Россию в Европе утвердил. Самый непонятный — не только потому, что непере译имый, но и потому, что Европа изменилась и не может в нем узнать себя».

Ни один труд, в котором была предпринята попытка синтезировать воззрения Пушкина, не поможет преодолеть этот разрыв: ни «Мудрость Пушкина» М. О. Еершензона, ни «Вечные спутники. Пушкин» Д. С. Мережковского, ни те замечательные исследования пушкинского творчества, которые появлялись с 1930-х годов. «Национальный и народный характер творчества» Пушкина, его «сияющая мудрость» и «духовная глубина» — не те концепции, которые могут открыть иностранному читателю волшебный ларчик пушкинского искусства.

Чтобы яснее это показать, обращусь к небольшой статье Александра Ник. Веселовского «Пушкин — национальный поэт» (1918). Историк пишет, что Пушкин открыл России «поэзию русской деревни» и в доказательство приводит знаменитые строки из «Путешествия Онегина»:

* «Oeuvres choisies de A. S. Pouchkine, poete national de la Russie, traduites pour la première fois en français par H. Dupont».

Люблю песчаный косогор,
 Перед избушкой две рябины,
 Калитку, сломанный забор,
 На небе серенькие тучи,
 Перед гумном соломы кучи...

Увы, от этих стихов во французском переводе не остается ровным счетом ничего. Переводчик (и хороший переводчик!) для рифмы к слову «sablonneux» (песчаный), придумал такую строчку: «Une sabane, un chemin creux» («Хижина, дорога, пролегающая между крутыми скатами»). Есть ли в России такие дороги? Я не нахожу в русском языке удовлетворительного эквивалента к французскому «chemin creux». Пейзаж пушкинского стихотворения превратился в рощу на западе Франции, русский национальный поэт бесследно исчез.

Веселовский цитирует и стихотворение «Румяный критик мой, насмешник толстопузый...», где пейзаж изображен с поразительным лаконизмом, а лексика опрокидывает жизнерадостную эстетику критика-гедониста. Романтический пейзаж перечеркнут убожеством русской природы, картину которой поэт разворачивает перед критиком: бедности пространства соответствует неразвитость чувств (отец торопится похоронить ребенка). Это отличительная черта второго Пушкина — антиромантика, его голос звучит глухо и почти неприятно:

Скорей! ждать некогда!
 Давно бы схоронил.

Читателю-иностранцу можно только растолковывать эту особую пушкинскую интонацию, комментировать ее, пояснять*. Но никогда он не сможет вполне прочувствовать ее. Он сам оказывается толстощекимым румяным критиком, ибо ничего не понимает!

Переписка Владимира Набокова с Эдмундом Уилсоном** обнажает абсолютное несогласие между американским критиком, который посвятил Пушкину главу в книге «A window on Russia», и незаурядным переводчиком «Евгения Онегина», написавшим огромный, на редкость ученый, забавный и подчас безжалост-

* Это прекрасно сделано в статье Алексея Береловича (Revue d'Etudes Slaves, 1987. T. LIX. Fasc. 1–2).

** The Nabokov — Wilson Letters: 1940–1971 / Edited by Simon Karlinsky. London, 1979.

ный комментарий к пушкинскому роману и трудам своих предшественников на поприще перевода.

Это очевидное и глубинное несогласие в итоге привело к разрыву Набокова с Уилсоном после многих лет дружбы (в тоне американца подчас проскальзывали высокомерно-снисходительные нотки). Вот одно из утверждений Уилсона, которое не могло не задеть Набокова: «По сравнению с Шекспиром последнего периода творчества Пушкин излишне правилен и педантичен. Он почти никогда не разнообразит своего ямба, тогда как у Шекспира возможны любые вариации и замены» (письмо от 20 апреля 1940 г.). 24 августа Набоков отвечает Уилсону длинным посланием, в котором пытается объяснить адресату, что он совершенно неправ («you are as wrong as can be»). Он пишет, что «в пушкинском ямбе нет ничего чересчур правильного и педантичного. За исключением, быть может, «Бориса Годунова» (это неудачное произведение). Пушкин только и делает, что варьирует и чуть ли не вывихивает свой ямб».

Уилсон считал себя знаменитым критиком и полагал, что вправе учить Набокова русской просодии. И ведь не кто-нибудь, а вполне доброжелательный иностранный пушкинист, много сделавший для того, чтобы американские читатели лучше понимали Россию, находит пушкинский стих «излишне правильным и педантичным»!

Можно ли придумать более плачевное недоразумение?

В книге «Strong opinions» (N.-Y., 1973) Набоков устраивает Уилсону настоящую экзекуцию. Статья называется «Ответ моим критикам». Набоков насмеяется над «художественными переводами», в которых объема отведено под смысл подлинника, 32% составляют нелепости, а остальную половину — наполнитель, не несущий никакой информации. Это царство «профессионального парафразёра».

Он издевается над Морисом Фридбергом, который написал (на плохом русском языке, прибавляет Набоков): «Сама по себе тема творчества не слишком важна» (Синявский в «Прогулках с Пушкиным» говорит почти то же самое). «Евгений Онегин» уже был переведен на английский американским славистом Арндтом, и как раз в такой манере, которую Набоков ненавидел, — при помощи стихотворного парафраза. Набоков предлагает «подвергнуть текст еще более тщательному травлению», обратиться к «еще более шероховатому английскому языку», воздвигнуть «неприступные баррикады квадратных скобок» — все для того, чтобы «убрать последние остатки буржуазной поэтизации и последние уступки ритму».

Набоков — за буквальность в любом случае, за отчаянное желание передать прыжки пушкинского стиля. Обращенные к Татьяне слова няни:

Ну дело, дело.
Не гневайся, душа моя! —

Он перевел так:

This now makes sense, do not be cross
With me, my soul.

Уилсон замечает, что выбор Набокова странен: «make sense» и «my soul» никак не могут стоять рядом, это стилистический взрыв. Набоков саркастически отвечает: «Как будто им <критикам перевода> известно, какие слова в речи старой няни могут сочетаться, а какие нет!»

В переложении Арндта (и во французском переводе Гастона Перо при участии Андре Марковича) использование рифмы безвозвратно сгубило эти строки:

J'ai tout compris, d'accord... D'accord,
Mais il ne faut pas crier si fort.

Оживленность и легкое раздражение юной барышни, говорящей со старой служанкой, не выдержали перехода на другой язык.

Роман Набокова «Дар» написан в 1936–1937 гг., когда отмечалась столетняя годовщина со дня смерти Пушкина, а культ классики в сталинской России достиг апогея, — нечто вроде торжеств наоборот. Набоков не только разрушает миф о русском радикализме, легенду о Чернышевском и русском искусстве на службе у революции (искусстве семинариста, по набоковскому определению), но и перечеркивает советское чествование памяти Пушкина. В этом романе читатель найдет прекраснейшие страницы из когда-либо написанных о Пушкине. Мать рассказчика, поэта Федора Годунова-Чердынцева, приехала в Берлин из Парижа, чтобы повидаться с сыном; сидя в кресле, она «штопает и подшивает» его «бедные вещи», а он читает «толстую потрепанную книгу» — том Пушкина, открывая его на тех страницах, которые раньше пропускал, — «Анджело», «Путешествие в Арзрум». Его завораживают фразы из «Путешествия...»: «жатва струи-

лась, ожидая серпа», «то-то был он ужасен» (о Тереке). «Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона — и уже знал, чего именно этот звук от него требует».

«Прозрачный ритм» «Путешествия в Арзрум» — открытие, зов, требование. Фрагменты, цитируемые Набоковым, заслуживают пристального внимания. По замечанию Кристины Поморской (статья «Структурные особенности «Путешествия в Арзрум»»^{*}), современники Пушкина воспринимали это произведение как нелитературное или же, как пишет П. Бицилли, как «художественную загадку». Здесь все обманывает ожидания читателя: наблюдения беспорядочны, нет ни густого восточного колорита, ни сентиментальности, да к тому же вместо любования красотами Грузии и Кавказа Пушкин спешит присоединиться к армии Паскевича. Набокова эта «нелитературность» очаровывает: как фамильярно обходится Пушкин с дикой природой, говоря о Тереке — «то-то был он ужасен».

Несколькими страницами далее Набоков издевается над пушкиноманией, которая в связи с юбилеем 1937 г. приобрела невероятный размах. Он выдумывает мемуариста Сухощекова (прозрачная аллюзия с фамилией пушкинского приятеля П. В. Нащокина) и его рукой переиначивает незавершенное стихотворение Пушкина, опубликованное в 1886 г. Реальный текст таков:

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить люблю, я жить хочу.
Душа не вовсе охладела,
Утрата молодость свою.
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милых снов воображенья,
Для чувств всего.

Вот чем заменяет Набоков вторую строфу (первая перешла в «Дар» без изменений):

Еще судьба меня согреет,
Романом гения упьюсь,
Мицкевич пусть еще созреет,
Кой-чем я сам еще займусь.

^{*} См.: Structural peculiarities in «Putechestvie v Arzrum» // Pushkin Symposium. N.-Y., 1975.

А фиктивный мемуарист добавляет: «Ни один поэт, кажется, так часто, то шутя, то суеверно, то вдохновенно-серьезно, не вглядывался в грядущее».

Вымышленное четверостишие — набоковский ответ слезливым комментаторам, оплакивавшим преждевременную гибель Пушкина. Ах, если бы он видел отмену рабства, если бы читал «Анну Каренину» («Романом гения упыюсь»). Краткость — неотъемлемая черта и творчества Пушкина, и самой его жизни: вот что подразумевает мистификация Набокова. В «Путешествии в Арзрум» поэт торопится, «спешит вернуться в Россию». Случайно ли это? — спрашивает Кристина Поморска.

Вернуться в Россию! Толкователи, быть может, излишне сосредоточились на влияниях на Пушкина: французском, английском (в частности — поэзии Байрона) — и как-то упустили из виду стремление поэта скорее возвратиться в Россию и прожить в ней немногие отпущенные годы.

Эдмунд Уилсон, друг-противник Набокова, под конец обращался с ним как с «литературным Фаберже». После выхода в свет набоковского перевода он написал статью «Странный случай Пушкина и Набокова». Гнев Уилсона был вызван тем, что Набоков преуменьшил пушкинские познания в английском языке и, следовательно, прямое влияние, оказанное на него английской поэзией. Он видит в этом факте отражение драмы самого Набокова, который тщетно пытался соединить в себе русского и англичанина.

Уилсону удалось найти несколько точных формулировок, чтобы выразить свое восхищение Пушкиным. Но в целом его статья оставляет грустное впечатление: по большому счету он не понимал как следует ни русской просодии, ни даже русской грамматики. При этом он считал себя англо-саксонским Мельхиором де Вогюэ и в многословном посвящении книги «A window on Russia» своей жене, русской по происхождению, с гордостью упомянул, что ее двоюродная бабушка была женой самого Вогюэ.

Я не хочу сказать, что Уилсон ничего не понял в Пушкине. В одном из писем Набоков поздравляет адресата: тот заметил, что Пушкин — весь «движение». Однако в конечном итоге Уилсон смог лишь, подобно Мериме, выразить свое восхищение сжатым совершенством, наслаждение стилем, свободным от натужной обстоятельности и психологических длиннот, напоминавшим ему греческую культуру и наводившим на мысли о «русском Моцарте», «страстном и изысканном». Несмотря на ряд ошибок, Мериме прекрасно схватил суть. Он пишет о стихотворении «Анчар», переведенном им на французский: «Рама этой картины

узкая, но сама она завершена, и в композиции, если не ошибаюсь, есть величие». Мериме не ошибается, однако он рассказывает, замечает, а не переливает кровь.

«Увожу с собой новое издание сочинений Пушкина, — пишет он в 1860 г. — Я принялся читать лирические стихотворения и обнаружил восхитительные вещи, которые пришлось мне совершенно по сердцу и вкусу, — совершенно греческие по правдивости и простоте» («Письма к незнакомке»).

Анри Монго, цитирующий этот пассаж, перевел стихотворение «Ночь» (1823), извиняясь за «весьма слабый и неумелый слепок» с оригинала. Каждому, кто берется за перевод Пушкина, следует, вне всякого сомнения, присоединиться к этому сожалению.

Д. П. Святополк-Мирский писал в 1928 г. в журнале *Commerce*: «Если Мериме и питал к Пушкину некоторый интерес, то не потому, что признавал его великим поэтом, а скорее потому, что этот афинянин среди скифов представлял собой весьма необычное зрелище».

Итак, мы вернулись к тому, с чего начали — «Onnotknowing Russian». Думаю, теперь мы знаем русский язык лучше Мериме, но по-прежнему можем лишь рассказывать о пушкинском очаровании, а иностранная публика будет все так же рассеянно слушать нас, а подчас и возмущаться (см. резкую критику Алена Боске в адрес Ефима Эткинда и возглавляемой им группы переводчиков после того, как в издательстве «L’Aged Homme» вышли в свет сочинения Пушкина).

Один только Набоков попытался совершить невозможное. Его перевод вызвал бурю откликов на Западе, что само по себе является немалым достижением. Но Эдмунд Уилсон вылил на него ушат помоев, объявив, что этот «Онегин» в конечном итоге — не что иное, как сочинение «перемещенного лица», эмигранта, который увез в бауле или портпледе пушкинскую (или, скорее, онегинскую) «негу», эту нежную чувственность; попытка перевести ее на другой язык стала поводом к настоящей артиллерийской дуэли Набокова с Уилсоном.

Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы, —

сообщает повествователь в романе.

Даже не стану приводить французский перевод Гастона Перо, скажу только, что этого двустипшия вы там не найдете — его заметил «наполнитель». Зато Набоков переводит совершенно точно: